



С. С. ДУДЫШКИН

Пушкин — народный поэт

Сочинение Пушкина. VII (дополнительный) том.
Издание г. Анненкова. 1857. — Сочинение Пушкина. VI томов.
Издание Исакова. 1859. — Библиографические замечание
по поводу последнего издания сочинений Пушкина. —
Биб. зап. 1859. №№ 5 и 6

Чем полнее издание поэта, тем лучше его понимаешь — аксиома до того известная, что ее применили к себе даже многие из живущих наших писателей для вящего уразумения их произведений. Два издания Пушкина, гг. Анненкова и Исакова (редакцией последнего заведовал г. Геннади) все больше и больше поясняют нам многое в Пушкине, что, может быть, прежде было известно только записным библиографам. А в настоящее время представлять себе ясно литературные видоизменения Пушкина значит уже много, потому что, сколько могут заметить читатели, преобладающим направлением у нас мало-помалу делается пушкинское. Известно определение последних годов деятельности Пушкина: он был *художник*. Вы спросите, что такое художник? Вам ответят стихами Пушкина «Поэт и чернь». Вы требуете более ясного ответа, и вам говорят о *народности* последнего периода деятельности Пушкина. Вы требуете доказательств: вам указывают на «Бориса Годунова», на «Русские сказки»; повести: «Капитанскую дочку», «Дубровского»... Вы можете быть согласны, можете быть не согласны с такими определениями; во всяком случае, чувствуете, что под этими объяснениями лежит еще какая-то пустота, что-то темное, не совсем доказанное. А между тем все селятся подражать стихотворениям Пушкина 1826–1836 годов, все дивятся, откуда бил этот сильный источник поэзии, недостижимой для современных поэтов, к которой, однако ж, публика нашего времени остается так же холодна, как была холодна публика тридцатых годов к Пушкину. Задача странная! В то время как художники по натуре в восторге от Пушкина, публика не понимает этого восторга. Мало того: мы все называем Пушкина народным писателем, а между тем сколько до сих пор известно, ни один собиратель народных

песен и сказок не встретил в народе пушкинского стиха. Народу до сих пор чужд Пушкин. Из каких же народных элементов сложилась его поэзия? Вы видите, сколько противоречия в том, что с первого взгляда кажется ясным и неопровержимым. Вот, для разъяснения некоторых из этих недоразумений и важны два полные собрания сочинений Пушкина, которые выставлены в начале нашей статьи.

Прежде всего мы сообщим факты, с которыми познакомят нас эти издания, соединим их с тем, что было уже известно, и если вывод какой-нибудь можно будет сделать, то сделаем его.

Известно, что Пушкин с 1826 года начал мало-помалу терять сочувствие публики — обстоятельство, на которое он не без желчи впоследствии указал и сам. «Поэт, не дорожи любовью народной», «Моя родословная», которая до сих пор еще не вполне напечатана; стихотворения: «В начале славы и добра», «Нет, я не льстец», «К вельможе» открывают ряд произведений так называемого «зрелого» творчества. Публика, однако ж, его не понимала, и это сердило Пушкина и худо скрыто в следующих двух примечаниях к «Борису Годунову», написанных на французском языке:

Первое примечание. «Публика и критика, принявшие мои первые опыты с живым снисхождением, и притом в такое время, когда строгость и недоброжелательство отвратили бы меня, вероятно, навсегда от поприща, мною избираемого, заслуживают полной моей признательности: они расплатились со мной совершенно. С этой минуты их строгость или равнодушие уже не могут иметь влияния на труды мои» (Изд. Анненк. Т. I, стр. 150).

Второе примечание. «Представляюсь с новыми приемами в создании. Не имея более надобности заботиться о прославлении неизвестного имени и первой своей молодости, я уже не смею надеяться на снисхождение, с которым был принят доселе. Я уже не ищу благосклонной улыбки моды. Добровольно выхожу я из ряда ее любимцев, принося ей глубокую мою благодарность за все то расположение, с которым принимала она слабые мои опыты в продолжение десяти лет моей жизни» (Там же).

Первое, чего хотел Пушкин: вникнуть в эпоху и изобразить ее. Удалось ему это или нет — другой вопрос; но Борис Годунов, которым восхищались, успел также вооружить критиков против Пушкина. И во время появления образ мыслей Пимена нашли отсталым, а Белинский уже впоследствии не понимал возможности возвеличения Бориса — виновника укрепления крестьян¹.

Изменения во взгляде на вещи происходили таким образом в Пушкине (это нам прекрасно объяснил г. Анненков). Пушкин оправдывался в создании Пимена следующим образом:

«Характер Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в *наших старых летописях*: умилительная кротость, младенческое и вместе мудрое простодушие, набожное усердие к власти царя, данной Богом, совершенное отсутствие суетности дышат в сих драгоценных памятниках времен давно минувших, между которыми озлобленная летопись кн. Курбского отличается от прочих летописей, как бурная жизнь Иоаннова изгнанника отличалась от смиренной жизни безмятежных иноков. Мне казалось, что сей характер вместе нов и знаком для русского сердца; что трогательное добродушие древних летописцев, *столь постигнутое Карамзиным* и отразившееся в его бессмертном создании, украсит простоту моих стихов и заслужит снисходительную улыбку читателей. Что ж вышло? Обратили внимание на политические мнения Пимена и нашли их запоздалыми»².

Это мнение Пушкина о Карамзине написано в 1826 году; замечательно, что оно нисколько не изменилось и до 1836 года, смерти Пушкина, и он продолжал видеть в Карамзине все тот же идеал историка, которого оправдывал, когда писал рецензию на «Историю русского народа» Полевого³. В то время Пушкин был уже журналистом (журнал его имел значение только превосходного литературного сборника). Рецензия слаба донельзя; нельзя даже поверить, что писал ее Пушкин; вся она состоит из придирок к словам и из толкований о слоге. Зачем Полевой посвятил свою историю Нибуру⁴, зачем он нападал на Карамзина:

«Чем полнее, чем искреннее отдал бы он справедливость Карамзину, чем смиреннее он отозвался бы о самом себе, тем охотнее были бы все готовы приветствовать его появление на поприще, ознаменованном бессмертным трудом его предшественника. Он отдал бы от себя нарекания, правдоподобные, если не совсем справедливые. Уважение к именам, освященным славою, не есть подлость (как осмелился кто-то напечатать), но первый признак ума просвещенного. Позорить их дозволено токмо ветреному невежеству, как некогда по указу эфоров, одним хиосским жителям дозволено было пакостить всенародно.

Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апофегмами хронике. Критика его состоит в ученом сличении преданий, в остроумном изыскании истины, в ясном и верном изображении событий (?! Каченовский⁵ был известен Пушкину⁶). Нет ни единой эпохи, ни единого важного происшествия, которые не были бы удовлетворительно развиты Карамзиным. Где рассказ его не удовлетворителен, там недоставало ему источников; он их не заменял своевольными догадками. Нравственные его размышления, своею иноческою простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи».

Заметим кстати, что это карамзинское красноречивое добродушие, в котором Пушкин видит «иноческую простоту», и послужило основанием к созданию Пимена, а не летописи, которые не так красноречивы. Но как бы ни было, в 1836 году Пушкин больше ничего не мог сказать в защиту своего любимого историка. О Полевом же он говорит следующее:

«Г. Полевой сильно почувствовал достоинства Баранта и Тьерри и принял их образ мнений с неограниченным энтузиазмом молодого неопита. Пленяясь романической живостью истины, выведенной перед нас *в простодушной нагоде летописи**, он фанатически отвергнул существование всякой другой истории. Судим не по словам г. Полевого, ибо из них невозможно вывести никакого положительного заключения; но основываемся на самом духе, в котором вообще писана *История русского народа*, на старании г. Полевого *сохранить драгоценные краски старины* и частых его заимствованиях у летописей. Но желание отличиться от Карамзина слишком явно в г. Полевом, и как заглавие его книги есть не что иное, *как пустая пародия* заглавия “История Государства Российского”, так и рассказ г. Полевого слишком часто не что иное, как пародия историографа».

Можно не уважать Полевого как поклонника западных теорий в истории, но не видеть разницы между приемами того и другого — воля ваша, не обличает исторического такта, хотя Пушкин и собирался писать историю Петра I. Понятно, почему о существенной разнице между тою и другою историею нет и помина у Пушкина!

Точно так же для Пушкина бесследно прошел г. Каченовский. Поэтому посвящение «Бориса Годунова» памяти Карамзина получает особенно важное значение.

«Историческое созерцание, — говорит г. Анненков (т. I, стр. 147), — которое Пушкин почерпнул в Борисе Годунове, состояло преимущественно в спокойном, бескорыстно-благородном уважении к прошлым деятелям на исторической сцене нашего отечества. Еще в Одессе думал он о важности обязанностей, лежащих вообще на человеке, и особенно на писателе, который своим *происхождением связан с сословием, наиболее участвовавшим в общем преуспейнии нашего отечества*. С жаром объяснял он свою мысль, которая предписывала не байроновскую спесь, а строгое, благородное понимание своего призвания. Работы, предшествовавшие Годунову, *отделили все случайное, личное, наносное в этом взгляде и превратили его в сочувствие к давно прошедшим*

* Замечательно, что в этом укоряет Полевого Пушкин, так страстно защищающий подслащенную летопись Карамзина!

лицам, к пониманию их трудов, ошибок и успехов в деле прославления и нравственного развития отчизны. Эта отвлеченная, кабинетная, так сказать, любовь к прошедшему, не связанная ни с какой посторонней, корыстной мыслью, составила основание его суждений об исторических лицах и эпохах и сообщила им теплоту и чувство. Он выразил ее превосходно (говорит г. Анненков), в одной заметке, помещенной со многими другими, в “Северных цветах” на 1828 г.:

“Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами переданное, не есть ли благороднейшая надежда нашего сердца?”»

Другая рукописная заметка тоже объясняет ее:

«Образованный француз, или англичанин, дорожит строкою старого летописца, в которой упомянуто имя его предка, честного рыцаря, павшего в такой-то битве, или в таком-то году возвратившегося из Палестины; но калмыки не имеют ни дворянства, но истории. Только дикость и невежество не уважают прошедшего»...

Не приходят ли вам на память в этом месте известные слова Карамзина в «Марфе Посаднице»: «народы дикие любят независимость, народы образованные»... и проч.?

А вот и третья заметка Пушкина о том же предмете. Она помещена в VII т., изд. г. Анненкова.

«Новые выходки против так называемой *литературной* нашей аристократии столь же недобросовестны, как и прежние (по поводу журнальной критики, которая сильно действовала на впечатлительную натуру Пушкина, хотя он и прикрывался равнодушием к публике, как выше видно). Ни один из известных писателей, принадлежащих будто бы этой партии, не думал величаться своим дворянским званием. Напротив, “Северная пчела” помнит, кто упрекал поминутно г-на Полевого тем, что он купец, кто заступился за него, кто осмелился посмеяться над феодальной нетерпимостью некоторых чиновных журналистов. При сем случае заметим, что если большая часть наших писателей дворяне, то сие доказывает только, что дворянство наше (не в пример прочим) грамотное. Этому смеяться нечего. Если б звание дворянина ничего у нас не значило, то и это было бы вовсе не смешно. Но пренебрегать своими предками из опасения шуток гг. Полевого, Греча и Булгарина непохвально, а не дорожить своими правами — глупо. Не дворяне (особливо нерусские), позволяющие себе насмешки насчет русского дворянства, более извинительны. Но и тут шуточки их достойны порицания. Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия (которых, впрочем, ни в каком отношении сравнивать с нашими невозможно) приуточили крики... и ничуть не забавные куплеты с припевом... *Avis un lecteur*» (т. VII, стр. 86)⁷.

Далее г. Анненков говорит об исторических изысканиях Пушкина:

«Чем глубже проникали его исторические изыскания*, тем более очищалась и светлела эта симпатия к отечественным деятелям и эпохам, которая не исключала сочувствия к достоинству и благородству на всех ступенях общества, а напротив, вызывала и укрепляла его» (т. I, стр. 148).

А между тем странная вещь: Пушкин стыдился, что его считали поэтом! Это г. Анненков объясняет таким образом:

«Известно, что он всего более опасался, в виду света, своего настоящего призвания и титула поэта. Обязанный лучшими минутами жизни уединенному кабинетному труду, он искал успехов и торжеств на другом поприще и считал помехой все, что к нему собственно не относилось. Уверением, что он пишет из расчета, как другой заводит фабрику или занимается агрономией, старался он перед светом закрыть свое достоинство писателя, *в котором никак не хотел явиться перед ним*, хотя доброй частью своих успехов обязан был именно блеску, сопровождающему необыкновенный талант. Только в последних годах своей жизни теряет он ложный стыд этот и является в свете уже как писатель. Важные труды, принятые им на себя, и знаменитость самого имени освобождают его от предубеждения, отличавшего его молодые годы. В эту же эпоху (1827 г.), всякое смешение светского человека с писателем наносило ему глубокое оскорбление».

Тем не менее, говорит г. Анненков, «в той же последней заметке он прибавляет, что *потомство* Мининых и Ломоносовых, по справедливости может гордиться сими именами, как лучшим своим достоянием. С уважением смотрел он и на собственных предков, говорил о них с любовью и часто возвышался до поэтического представления эпохи, видевшей их деятельность».

Вот это поэтическое представление, под названием «Моя родословная» (изд. Исак., т. I, стр. 465).

Смеясь жестоко над собратом,
Писаки русские толпой
Меня зовут аристократом.
Смотри, пожалуй, вздор какой!

.....
.....

* Каковы они были — мы видели выше.

Родов униженных обломок
И, слава Богу, не один,
Бояр старинных я потомок —
Я мещанин, я мещанин.

.....

Мой предок, ради славы бранной
Святому Невскому служил;
Его потомство Гнев венчанный
Иван IV пощадил.
Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин.

Смирив крамолы и коварство,
И ярость бранных непогод,
Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ —
Мы к оной руку приложили;
Нас жаловал страдальца сын;
Бывало, нами дорожили;
Но я — я темный мещанин.

Упрямства дух нам всем подгадил.
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.

.....

Под гербовой моей печатью
Я свиток грамот сохранил
И не якшаюсь с новой знатью,
И крови спесь угомонил.

Я неизвестный стихотворец,
Я просто Пушкин — не Мусин,
Я сам — большой, не царедворец,
Я грамотей, я мещанин!

В... Ф..., сидя дома,
Решил, что дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал.

Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двинулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Корме родного корабля.

Сей шкипер деду был доступен,
И сходно купленный араб

Возрос усерден, неподкупен,
 Царя наперсник, а не раб.
 И был отец он Ганнибала,
 Пред кем среди гибельных пучин
 Громада кораблей вспылала,
 И пал впервые Наварин.

«Пьеса эта, — говорит г. Анненков (стр. 300), — отличается, по замечанию Бессонова, спокойным, светлым состоянием духа, несмотря на обманчивые полемические приемы свои. Действительно, первая ее мысль принадлежит проекту отражения какого-то намёка, стало быть, бесплодным и темным отношениям эпохи, но в процессе творчества поэтический элемент одолел первое побуждение и совершенно уничтожил его в собственной своей мысли. Основная причина, породившая пьесу, до того пропадает из глаз, что поэту надо упоминать об ней отдельно от своей пьесы. Так он писал в Болдине: “Где-то сказано было, что прадед мой Абрам Петрович Ганнибал, крестник и воспитанник Петра Великого, наперсник его (как видно из собственноручного письма Екатерины II), генерал-аншеф, отец Ганнибала, покорившего Наварин, был куплен шкипером за бутылку рома. Прадед мой, если был куплен, то, вероятно, дешево, но достался он шкиперу, коего имя всякий русский произносит не всуе”».

Плохое утешение аристократическому чувству. Но мы здесь говорим об изучении исторического колорита.

«По свойству своего ума, — продолжает г. Анненков (стр. 303), и особенно по свойству своего таланта, преобладавшего над всеми другими способностями, Пушкин искал везде ясных образов и положительных результатов: отсюда его безграничное уважение к светлому труду Карамзина и *равнодушное отношение к критической школе, появившейся за ним**. Кто знает, что Пушкин во всю свою жизнь никогда *не был скептиком (!)***, тот поймет эту черту его жизни. Он не мог долго стоять на полпути и предпочитал *всякое объяснение* продолжительному недоумению спора и запутанности его. К Карамзину приведен он был и требованиями эстетического рода...»

Если продолжить сравнение исторического взгляда Карамзина и Пушкина, мы удивим, до какой степени поэт рабски следовал за историком. Уже в речах Годунова читаешь последние томы «Истории Государства Российского»: тот же взгляд, с нравственной точки

* Она-то и двинула нашу историю, хотя и не представляла ее такую блестящую, как Карамзин.

** А разве можно быть подражателем Байрона, чем Пушкин был до 1826 г., не будучи скептиком? А «Демон»?

зрения, на страдания Бориса; то же отсутствие масс в народной картине; тот же колорит на царедворцах Бориса, колорит, который дан им Карамзиным. Впоследствии взгляд этот развивался более и более в Пушкине. В том же, 1826, году начинаются его патриотические оды, в которых читатель видит новый шаг после Державина:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.

Текла в изгнанье жизнь моя,
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Простер — и с вами снова я.

Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленье,
Ему хвалы не воспою?

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя назовет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.

Он скажет: презирай народ,
Гнети природы голос нежный!
Он скажет: просвещенья плод —
Страстей и воли дух мятежный!

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу⁸.

Не говорим уже, что, по вдохновению, эти стансы равны самым сильным одам Державина; нам почему-то так и кажется, что стихи эти навеяны чтением последних томов истории Карамзина. Впрочем, справедливо замечает г. Анненков, что:

«По глубине, изобретательности и сосредоточенному чувству, пьеса эта может быть поставлена в параллель с следующими патриотическими стансами Пушкина, того же 1826 года, с которыми она и написана в одно время:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни...»

и т.д.

.....

Проникаясь более и более историческим взглядом Карамзина на прошедшие судьбы нашего отечества, он говорил следующее по поводу записки «О древней и новой России»:

«Пребывание Карамзина в Твери ознаменовано еще одним обстоятельством, важным для друзей его славной памяти, неизвестным еще для современников. По вызову государыни великой княгини (Екатерины Павловны), женщины с умом необыкновенно возвышенным, Карамзин написал свои мысли “О древней и новой России” со всею искренностью прекрасной души, со всею смелостью убеждения сильного и глубокого. Государь прочел эти красноречивые страницы... прочел и остался по-прежнему милостив и благосклонен к прямодушному своему подданному. Когда-нибудь потомство оценит и величие государя, и благородство патриота» (Издание Исакова, т. V, стр. 275)⁹.

В настоящее время мы уже с большею частью этой записки знакомы, и дальнейшие исследования о графе Сперанском еще более должны уяснить для нас учение Карамзина как противника Сперанского¹⁰.

«С 1833 года начинает проявляться в Пушкине религиозное настроение духа и выражается оно (говорит г. Анненков) теми превосходными песнями, основание которым положило стихотворение *Странник*, написанное летом того же года. Стихотворение это открывает глубокое духовное начало, которое уже проникло собой мысль поэта, возвысив ее до образов, принадлежащих, по характеру своему, образам чисто эпическим. Что это не было в Пушкине отдельной поэтической вспыш-

кой, свидетельствуют многие последующие стихотворения, как-то: *Молитва*, *Подражание итальянскому* и несколько еще неизданных. Лучшим доказательством постоянного, определенного направления служат опять рукописи поэта. В них мы находим, что он прилежно изучал повествования Четьи-Миней и Пролога, как в форме, так и в духе их». После того Пушкин участвовал в составлении «Словаря святых православной церкви» и написал похвальную рецензию этому словарю в «Современнике» за 1836 г.

В 1834 и 1835 годах Пушкин находился в сношениях почти со всеми знаменитостями светского, дипломатического, военного и административного круга. «Гораздо реже (говорит его бессменный биограф) и не совсем охотно спускается он в круг литераторов: разнообразные требования и стремления их уже не имеют для него важного значения...»

Пушкин сделался совершенным художником. «Он уже мог тогда прозреть свое значение как воспитателя художнического чувства в отечестве» (Там же).

К 1836 году принадлежит следующая его пьеса¹¹ (изд. Исакова, т. I, стр. 532):

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги,
Или мешать... друг с другом воевать;
И мало горя мне — свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Всё это, видите ль — *слова, слова, слова**.
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода...
Зависеть от властей, зависеть от народа:
Не всё ли нам равно? Бог с ними... Никому
Отчёта не давать, себе лишь самому
Служить и угождать;
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права!...

Это было написано 5-го июля.

* Hamlet. — Примеч. Пушкина.

После этого стихотворения он написал только «Памятник» — стихотворение, всем известное...

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык:
И гордый (?) внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен
И милость к падшим призывал.

Нам остается объяснить «те добрые чувства», которые пробуждал Пушкин. Хотя все вышеприведенное и характеризует уже эти чувства, однако ж дальнейшее объяснение их мы прочли недавно в «Библиографических записках».

Однако ж, прежде нежели мы станем продолжать, нас могут спросить, к чему ведем мы нашу речь?

Отвечаем на этот вопрос. — Если есть несколько истин, не подлежащих сомнению в истории нашей литературы, то одною из них должна быть следующая, уже давно доказанная: что Пушкин был истинный и высокий художник по простоте приема, по отсутствию всякой вычурной щеголеватости и по разнообразию мотивов, чистый художник, какие рождаются редко, потому что редко кто в состоянии бывает совершенно замкнуться в себя и забыть все окружающее. Эта истина, говорим мы, доказана давно, и до сих пор ничего не утратила из своей прежней силы. Другая истина, что публика и критика стали холодны в последнее время к деятельности Пушкина, также не подлежит сомнению, потому что за нее говорят факты, уничтожить которые мы не в силах. Уже легкие полемические отзывы Пушкина, в ответ Полевому и Булгарину, говорят о повороте критики, если б у нас не было сильных свидетельств тому в рецензиях Белинского, который, с свойственной ему откровенностью суждений, сказал, что от Пушкина, после его признаний, сделанных в 1826–1836 гг., нечего ждать обществу: т. е. что воззрение Пушкина ясно высказалось. Известна литературная буря, поднятая этою фразою, известна и неуклонность суждений Белинского. Но с 1849–1860 года, понятия, высказанные о Пушкине, как-то перемешались и затемнились. Слова, сказанные Белинским об общественном значении Пушкина, относились к его художническому таланту, и новейшие критики не находили достаточных извинений Белинскому, который мог так выразиться о Пушкине в то время, когда каждое новое произ-

ведение Пушкина дарило публику чем-то неслыханным до того времени на русском языке. Умышленно или неумышленно были перетолкованы слова Белинского, здесь мы разбирать не станем, да даже и толкование об этом не было бы новостью.

Как бы то ни было, но обе эти истины не подлежат сомнению, хотя в последнее время они и были смешаны в одну, отчего и произошла вся путаница. Указывали только на *художественность* Пушкина и в то же время *народность* его; необходимым условием и художественности и народности считали тот карамзинский склад исторического воззрения на русское общество, которое перенял Пушкин у Карамзина. Правда ли это? Неужто художником русским нельзя быть, не усвоив всего карамзинского мирозерцания? Вот вопрос, который мы считаем *действительно важным* для нашей настоящей литературной деятельности.

Аксиома в этом отношении давно найдена эстетикой. Нельзя быть народным поэтом до тех пор, пока история не даст подладки под художественную деятельность. В этом, мы надеемся, никто с нами спорить не станет, и, несмотря на всю силу такта, всегда присущую большому таланту, мы решаемся сомневаться, чтоб талант этот, воспитанный на чуждой для народа почве, воспитанный историей, которая не видела постепенного развития общественных сил, перспективы в исторической истине, которая знала пружины государственные, но не силы народа, могла быть действительною народною поэзией. Здесь никакая сила таланта не может уберечь от невольного обмана. Кто судит у нас о народности или ненародности поэзии? Те же лица, которые, как поэты, воспитаны другою наукою, которые с народом также разделены и мало друг друга понимают. Что мы в настоящее время мало один других понимаем, все больше и больше делается осязательным. Вы описываете боярина по-своему, а народ понимает его по-своему; для вашего ума и исторического знания кажется непостижимым народ, который в течение нескольких лет произвел несколько самозванцев, а для народа и человека, вникнувшего в это понимание, истина эта кажется одною из самых простых; где вы видите идеальную, простосердечную набожность, там часто открывается какое-то смешанное мифологическое понимание естественных сил; там, где вы готовы признать высокую нравственность, чистоту семейных уз, там оказывается живущим какое-то физическое стихийное начало. В настоящее время пробегая, например, «Бориса Годунова», мы видим, что первая сцена, где говорится о выборе Бориса и о том, как народ боится, чтоб Борис не отказался, и «воет» в отчаянии — не производит на нас никакого впечатления, потому что это самый обыкновенный старинный, да и нынешний, обряд *трижды* отказываться от должности, прежде нежели ее примут. Таким образом и речь Щелкалова:

Собором положили
В последний раз отведать силу просьбы
Над скорбною правителя душой.

Заутра вновь святейший патриарх,
В Кремле отпев торжественно молебен,
Предшествуем хоругвями святыми,
С иконами Владимирской, Донской,
Воздвижется; а с ним синклит, бояре,
Да сонм дворян, да выборные люди
И весь народ московский православный,
Мы все пойдем молить царицу вновь,
Да сжалится над сирью Москвой
И на венец благословит Бориса.
Идите же вы с богом по домам,
Молитесь, да взыдет к небесам
Усердная молитва православных...

Вся эта торжественная речь, при чтении которой мы некогда трепетали, теперь кажется нам уже без нужды напыщенной. Кто трижды не откажется, тот по-старинному так же не умеет жить, как и тот, кто сел бы под образами, когда старшие есть.

Затем разговоры Шуйского и Баратынского скорее напоминают нам царедворцев XIX века, нежели русских бояр Борисова времени. Где та крамола, которая играла такую роль в истории междуцарствия? неужто в разговоре таких царедворцев?

Трогательная личность Пимена, которую вся Россия наизусть знает, как-то холодно теперь действует на нас, когда знаешь, что все наши старинные летописцы писали не без ведома царя и были летописцами царскими. Все нравственные мучения Бориса, которому совесть не дает покоя и которая выражается в таких романтических монологах, кажутся нам мелодраматическими:

Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно:

*Но счастья нет моей душе. Не так ли
Мы смолоду влюбляемся и алчем
Утех любви, но только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем,
Уж, охладев, скучаем и томимся!..
Напрасно мне кудесники сулят
Дни долгие, дни власти безмятежной:
Ни власть, ни жизнь меня не веселят.*

Предчувствую небесный гром и горе.
Мне счастья нет.

Живая власть для черни ненавистна,
Они любить умеют только мертвых.
Безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит наше сердце...

Насколько исторической истины в том, что люди, подобные Борису по властолюбию и честолюбию, терзаются вопросами совести в затруднительных обстоятельствах, мы говорить не будем. А между тем этот нравственный вопрос, так-мол следует быть (у людей религиозных нашей старины), проходит сквозь все сцены!... Но, представив нашего старинного человека глубоко религиозным, как это делают Карамзин и Пушкин, они непременно должны были выдвинуть на первый план нравственные мучения, угрызения совести, хотя и в такое время, когда честолюбивый правитель видел, что все его начинания и помыслы рушатся в прах! О мирском, мол, старинные наши люди не заботились.

Далее: где те массы, которые неоспоримо играли первую роль в истории междоцарствия? Народ «воет», когда в третий раз упрашивает Бориса принять венец и затем бессмысленно присягает самозванцу...

Нет, вы чувствуете, что Борис Годунов отходит к романтическим драмам и что пушкинское воззрение на старину отживает свое время. В этом нужно сознаться, если мы хотим отдать справедливость той стороне его поэзии, которая жива до сих пор в его лирических произведениях, в его повестях.

Точно так же несовременно в Пушкине и все то, что он в последнее время говорил о западной науке. К ней он стал решительно враждебен. Карамзинские принципы, перенесенные в «Записке о древней и новой России» на почву современной Карамзину истории, были точно так же враждебны современной ему эпохе (припомните отношения его к Сперанскому), как и отношения Пушкина к западной науке. Пушкина убеждения исходили оттуда же, откуда шли убеждения Карамзина. Этот взгляд Пушкина выразился осязательнее всего в отношении поэта к известному «Путешествие» Радищева. В книге Радищева Пушкин не видит ничего, кроме 1) прежде всего, дурного слога и 2) безотчетного подражания Западу. Отрывки из этой статьи Пушкина, помещенные отчасти в издании Анненкова, потом в издании Исакова, наконец в «Библиографических записках», составляют действительно важное приобретение для критики Пушкина. Радищев всего коснулся в своем «Путешествии». Пушкин на все ответил в своей рецензии. Отзыв о самом Радищеве и об этой крайне поверхностной

статье Пушкина, сделанный в «Библиографических записках», мы считаем совершенно верным:

«Радищев представляется каким-то совершенно одиноким явлением в русской литературе XVIII столетия! Воспитанный за границею в то время, когда старый порядок вещей уже был осужден безвозвратно на гибель, автор “Путешествия” до такой степени проникся новыми началами, убеждением в необходимости преобразований и в их несомненную силу, что всякая уступка отживающему порядку вещей, всякая сделка с устаревшими понятиями стали для него невозможны. Ни один русский писатель XVIII века не представляет такого цельного характера. В то время, когда другие, увлеченные сначала тем же умственным движением, стали мало-помалу мириться с действительностью или вдалились в мистицизм — это убежище для утомленных борьбою, — Радищев сохранил прежнюю твердость верований, удивляя других “молодостью своих седин”, как говорит о нем Пушкин. В “Путешествии из Петербурга в Москву” он до такой степени верен своему веку, что, разбирая его книгу, критик имеет дело не с личным взглядом автора, а с нравственными требованиями его времени.

Иначе смотрел на него Пушкин. В биографии Радищева он говорит, что в авторе “Путешествия” отразилась вся французская философия его века в искаженном виде; что он есть истинный представитель полупросвещения. На все высказанное Радищевым смотрит он как на каприз раздраженного человека, *как на личные мнения, имеющие мало общего с требованиями века*. Когда Пушкин писал разбор “Путешествия”, его направление значительно уже изменилось, но далеко не получило той твердости, о которой говорит г. Анненков (Т. VI, стр. 110). “Мысли на дороге” показывают, напротив, что убеждения автора (Пушкина) были очень нетверды. Иначе, как объяснить себе, что Пушкин, говоря об одной картине из крепостного быта, мастерски начерченной Радищевым, увлекается ею до того, что соглашается с ним, не замечая даже, что впадает чрез это в противоречие с своими собственными словами, высказанными за несколько страниц. Не говорим уже о слабости возражений Пушкина: самая нетвердость убеждений ставит его несравненно ниже Радищева, которого не останавливает никакой вывод, который говорит, как человек, не признающий даже и возможности ошибиться — до такой степени он исполнен веры в свои “мечтания”, как называет его убеждение Пушкин» (Биб. зап. 1859, № 6, стр. 162, 163).

Желающих ближе познакомиться с этою статьею отсылаем к изданию Исакова (Т. V) и к Библ. запискам (1859, № 6).

Много выводов теснится в уме из всех фактов, выше нами приведенных. Неужто спокойное творчество требует непременно и той спокойной исторической точки зрения на вещи, которой покорился в конце своей

жизни Пушкин? Не отжила ли она свой век, как отжили предшествовавшие Пушкину исторические попытки? А если во взгляде Пушкина и на современную ему Россию и на прошедшую ее судьбу мы видим много отсталого, то в чем же заключается та художественная сила, которая живет в его стихе? В чем же заключается та правда, которой еще так много в Пушкине, на которую следует указывать молодому поколению как на путеводную звезду? *В одном ли так называемом художническом приеме, или и в русском взгляде на вещи?* — Что ж в этом русском взгляде остается русского, если согласиться, что взгляд этот на старину слишком подслащен, а на современное общество слишком спокоен?

Надеемся, что нас не обвинят за эти вопросы в нелюбви к Пушкину, в неуважении его авторитета... и проч., и проч. Мы полагаем, в настоящее время, когда деятельность Пушкина сделалась руководящею и когда новые изыскания в народной жизни стали на первый план, мы полагаем, что эти вопросы сами собою рождаются и критика не вправе их обходить. Мы не обвиняем Пушкина ни за какой взгляд, как то дельвали прежде: мы только спрашиваем, насколько этот взгляд на настоящее время русский и народный?

